

В ОЕННЫЕ 1917  
М ЕМУАРЫ 1919

П.П. Скоропадский

# ВОСПОМИНАНИЯ ГЕТМАНА





Военные мемуары (Вече)

Павел Скоропадский  
**Воспоминания гетмана**

«ВЕЧЕ»

1925-1935

## **Скоропадский П. П.**

Воспоминания гетмана / П. П. Скоропадский — «ВЕЧЕ»,  
1925-1935 — (Военные мемуары (Вече))

ISBN 978-5-4484-7967-0

Павел Петрович Скоропадский был блестящим кавалерийским офицером Русской императорской армии. Первую мировую войну он закончил генерал-лейтенантом, а после Февральской революции сделал ставку на украинскую карту и начал украинизацию своего корпуса. Весной 1918 г. в ходе переворота Скоропадский стал гетманом (главой) Украины. В своих воспоминаниях автор рассказывает о событиях на Украине в конце 1917 г. – начале 1919 г., показывает процесс формирования своего правительства, взаимоотношения между различными украинскими фракциями. Особый интерес представляют впечатления Скоропадского о контактах с немецкими оккупационными властями и представителями Донской и Добровольческой армий.

ISBN 978-5-4484-7967-0

© Скоропадский П. П., 1925-1935

© ВЕЧЕ, 1925-1935

## Содержание

Воспоминания гетмана	6
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# **Павел Петрович Скоропадский**

## **Воспоминания гетмана**

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

## Воспоминания гетмана

Записывая свои впечатления, я не особенно считался с тем, как будут судить меня мои современники, и делаю это не для того, чтобы входить с ними в полемику. Я нахожу необходимым правдиво записать все, что касается моей деятельности за период с конца 1917 года по январь 1919 года. Лично не чувствую ни охоты, ни способности создавать интересные мемуары, но события, центром которых мне пришлось быть за этот период времени, сложность только что пережитой мною политической обстановки заставляют меня записать то, что не изгладилось из моей памяти.

Может быть, будущим историкам революции мои записки пригодятся. Прошу их верить, что все мною записанное будет верно, т. е. что я буду заносить так, как мне казалось положение в данное время, а там правильно ли я мыслил или неправильно, в этом поможет разобраться будущее. Жаль, конечно, что у меня нет под рукой необходимых документальных справок, но заинтересовавшийся моими записками будет всегда в состоянии найти все для него необходимое в архивах.

Прежде чем начать пересказ всего мною пережитого в эту интересную эпоху, я не могу не остановиться на одном факте, который меня сильно поражал и которому я до сих пор не могу дать точного определения. Как это могло случиться, что среди всех окружавших меня людей за время, особенно моего гетманства, было так мало лиц, которые в вопросе о том, как мыслить Украину, которую мы создавали, мыслили бы ее так, как я. Было два течения как в социальных, так и в национальных вопросах, оба крайние, ни с тем ни с другим я не мог согласиться и держался середины. Это трагично для меня, но это так, и, несомненно, это способствовало тому, что я рано или поздно должен был или всех убедить идти за мной, или же уйти. Последнее и случилось: оно логично не должно было произойти теперь, а случилось просто из-за грубой ошибки Entente. Исполни они мое желание, т. е. пришли они своего представителя в Киев, лишь бы видели, что меня фактически поддерживает Entente, этого не произошло бы, и, я думаю, задача восстановления порядка не только в Украине, но и в бывшей России тем самым была бы значительно облегчена. Теперь же я не хочу быть пророком, но не вижу, каким образом можно добиться в этой стране давно всеми желанного правового порядка.

Благодаря моему деду и отцу, семейным традициям, Петру Яковлевичу Дорошенко, Василию Петровичу Горленко, Новицкому и другим, несмотря на свою службу в Петрограде, я постоянно занимался историей Малороссии, всегда страстно любил Украину не только как страну с тучными полями, с прекрасным климатом, но и со славным историческим прошлым, с людьми, вся идеология которых разнится от московской; но тут разница между мною и украинскими кругами та, что последние, любя Украину, ненавидят Россию; у меня этой ненависти нет. Во всем этом гнете, который был так резко проявлен Россией по отношению ко всему украинскому, нельзя обвинять русский народ; это была система правления; народ в этом не принимал никакого участия; потому мне и казалось, да и кажется до сих пор, что для России единой никакой опасности не представляет федеративное устройство, где бы всякая составная часть могла свободно развиваться: в частности, на Украине существовали бы две параллельные культуры, когда все особенности украинского мирозерцания могли бы свободно развиваться и достигать известного высокого уровня; если же все украинство – мыльный пузырь, то оно само собою просто было бы сведено на нет.

Я люблю русский язык, украинцы его терпеть не могут; по крайней мере, делают вид, что не любят его; я люблю среднюю Россию, Московщину – они находят, что эта страна отвратительна; я верю в великое будущее России, если только она переустроится на новых началах, где все бы части ее в решении вопросов имели одинаковый голос и где бы не было того, как теперь, например, когда в Москве в известных кругах смотрят на Украину, как хозяин смотрит

на работника; украинцы этому будущему не верят и т. д. и т. д. Нет ни одного пункта, в котором я бы в этих вопросах с ними сходилась.

С другой стороны, великорусские круги на Украине невыносимы, особенно теперь, когда за время моего гетманства туда собралась чуть ли не вся интеллигентная Россия: все прятались под мое крыло, и до комичности жалко, что эти же самые люди рубили сук, на котором сидели, стараясь всячески подорвать мое значение вместо того, чтобы укреплять его, и дошли до того, что меня свалили. Это особенно ясно будет видно при дальнейшем изложении фактов: великорусские интеллигентные круги были одним из главных факторов моего свержения.

Эти великороссы совершенно не понимали духа украинства. Простое объяснение, что все это вздор, что выдумали украинство немцы и австрийцы ради ослабления России, – неверно. Вот факт: стоило только центральному русскому правительству ослабнуть, как немедленно со всех сторон появились украинцы, быстро захватывая все более широкие круги среди народа. Я прекрасно знаю класс нашей мелкой интеллигенции. Она всегда увлекалась украинством; все мелкие управляющие, конторщики, телеграфисты всегда говорили по-украински, получали «Раду», увлекались Шевченко, а этот класс наиболее близок к народу. Сельские священники в заботах о насущном пропитании своей многочисленной семьи под влиянием высшего духовенства, которое до сих пор лишь за малым исключением ненавидело все великорусское (московского направления), не высказываются определенно. Но если поискать, то у каждого из них найдется украинская книжка и скрытая мечта осуществления Украины. Поэтому когда великороссы говорят: украинства нет, то сильно ошибаются, и немцы и австрийцы тут ни при чем, т. е. в основе они ни при чем.

Конечно, общение с Галицией имело громадное значение для усиления украинской идеи среди некоторых кругов. Но это общение произошло естественно: тут ни подкуп, ни агитация не имели существенного значения. Просто люди обращались во Львов, т. к. отношение ко всему украинскому в этом городе было свободно. Естественно, что со временем за это украинство ухватилось и австрийское правительство и немецкое, но я лично убежден, что украинство жило среди народа, а эти правительства лишь способствовали его развитию, поэтому мнение великороссов, что украинства нет, что оно искусственно создано нашими бывшими врагами, – неверно. Точно так же неверно, что к украинству народ не льнет, народ страшно быстро его воспринимает без всякой пристегнутой к нему социальной идеи. Великороссы говорят: народ не хочет Украины, но воспринимает ее потому, что украинские деятели вместе с украинством сулят этому народу всякие социальные блага, поэтому народ из-за социальных обещаний льнет к украинству. Это тоже неверно: в народе есть любовь ко всему своему, украинскому, но он не верит пока в возможность достижения этих желаний; он еще не разубежден в том, что украинство не есть нечто низшее. Это последнее столетиями вдабливали ему в голову, и поэтому у него нет еще народной гордости, и, конечно, всякий украинец, повысившись в силу того или другого условия по общественной лестнице из народа, немедленно переделывался в великоросса со всеми его положительными и отрицательными качествами. Великороссы совершенно не признают украинского языка, они говорят: «Вот язык, на котором говорят в деревнях крестьяне, мы понимаем, а литературного украинского языка нет. Это – галицийское наречие, которое нам не нужно, оно безобразно, это набор немецких, французских и польских слов, приносивших к украинскому языку». Бесспорно, что некоторые галичане говорят и пишут на своем языке; безусловно верно, что в некоторых министерствах было много этих галичан, которые досаждали публике своим наречием, но верно и то, что литературный украинский язык существует, хотя в некоторых специальных вопросах он не развит. Я вполне согласен, что, например, в судопроизводстве, где требуется точность, этот язык нуждается еще в большем развитии, но это частности. Вообще же это возмутительно-презрительное отношение к украинскому языку основано исключительно на невежестве, на полном незнании и нежелании знать украинскую литературу.

Великороссы говорят: «Никакой Украины не будет», – а я говорю: «Что бы то ни было, Украина в той или другой форме будет. Не заставишь реку идти вспять, так же и с народом, его не заставишь отказаться от его идеалов. Теперь мы живем во времена, когда одними штыками ничего не сделаешь». Великороссы никак этого понять не хотели и говорили: «Все это оперетка», – и довели до Директории с шовинистическим украинством со всей его нетерпимостью и ненавистью к России, с радикальным проведением [насаждением] украинского языка и, вдобавок ко всему этому, с крайними социальными лозунгами. Только кучка людей из великороссов искренне признавала федерацию; остальные из вежливости говорили мне: «Федерация, да!», – но тут же решительно делали все для того, чтобы помину от Украины не было.

Затем в области социальных реформ среди великороссов господствует полнейшее непонимание. Кстати, к великороссам я отношу весь наш помещичий класс, т. е. и малороссов, поскольку у них одно и то же мировоззрение. Наш украинец – индивидуалист, никакой социализации ему не нужно. Он решительно против этого. Русские левые круги навязывают свои программы, которые к Украине неприменимы. Я всегда считал, что украинское движение уже хорошо тем, что оно проникнуто сильным национальным чувством, что, играя на этих струнах, можно легче всего спасти народ от большевизма. Я, например, хотел создать казачество из хлеборобов, но в ответ на это какие только палки в колеса не вставляли мне великорусские деятели. Казалось, ясно – главный враг большевизм великорусский, и затем наш внутренний украинский. Для борьбы с ним нужна физическая сила. Создавать войско, конечно, хорошо, но это требует времени, а главное при создании армии, какие лозунги мог бы я дать. При царском режиме были: царь, вера и отечество. Единственный понятный крестьянству лозунг – земля. Насчет воли – они сами изверились что-то, но землю подавай всю. Что бы из этого вышло, предоставляю судить каждому. Я и решил эту необходимую силу создать из хлеборобов, воспитав их в умеренном украинском духе, без ненависти к России, но с сознанием, что они не те, которые в России стали большевиками. Я решил, группируя их в сотни, полки, коши, перевести их в казачество или скорее возобновить старое казачество, которое испокон веков у нас было. Так как все эти казаки-хлеборобы – собственники, то естественно, что идеи большевизма не прилипали бы к ним. Я являлся их непосредственным главою; общность интересов заставила бы их быть преданными мне. Это страшно укрепило бы мою власть, и несомненно, что тогда можно было бы спокойно проводить и аграрную и другие коренные реформы. Но никто меня не поддержал; министры два раза проваливали проект, и в конце концов я сам провел это осенью, и то в каком-то искаленном виде, без всякого сочувствия со стороны министров и большинства старост, так что фактически ввести это в жизнь не представлялось возможным.

Для меня понятно отношение великорусских кругов к моим начинаниям: они не хотели Украины и думали, что можно целиком вернуться к старому, а я хотел Украину, не враждебную Великороссии, а братскую, где все украинские стремления находили бы себе выход. Тогда фактически эта искусственно разжигаемая галичанами ненависть к России не имела бы почвы и в конце концов исчезла бы вовсе.

Когда я был выбран хлеборобами в гетманы, в своей первой грамоте я изложил свою программу и этой программы, одобренной моими же выборщиками, я свято придерживался. Я действительно думал, что люди понимают, что украинское движение имеет право на существование. Конечно, самостоятельность, которой тогда приходилось строго придерживаться из-за немцев, твердо на этом стоявших, для меня никогда не была жизненна, но я думал, – да так бы оно и было – немцы изменили бы свою политику в сторону федерации Украины с Россией. Я указывал на эту необходимость, будучи в Берлине, и видел полное сочувствие; у немцев все было к этому подготовлено. Но для русских кругов, как оказалось, я был лишь переходной стадией между Центральной Радой и полным уничтожением украинства. Если были некоторые круги, которые признавали федерацию, автономию или что-нибудь подобное, то дело тут вовсе не в украинской идее, а исключительно в смысле удобства для обывателей иметь децентрали-



зованную Россию. Удобнее какому-нибудь сахарозаводчику или горнозаводчику из Киевской или Екатеринославской губернии ехать в Киев и сразу в кругу министров получить необходимые ему справки и разрешения вместо того, чтобы тащиться в Петроград и там высиживать в передних разных сановников... Одним словом, вся эта группа хотела решительного возврата к старому, как с точки зрения национальной, так и с точки зрения социальной. Были оттенки: например, некоторые совершенно не понимали украинства, хотя сами были природными украинцами. Они были податливее других, но они только сочувствовали начинаниям в искусстве и в области некоторых исторических воспоминаний. Казачеству они сочувствовали потому, что это напоминало старое казачество, жупаны, бунчуки и т. п.; вообще, это говорило их художественному чутью, но глубины вопроса они не воспринимали и поэтому не считали все это дело спешным. Да и таких было мало. Для других, коротко говоря, революции не было. Нужно было вернуться к старому, для этого, по их мнению, был необходим временно я.

Украинские влиятельные круги – главным образом социалистические; к ним относится справа небольшая кучка социал-федералистов и несколько человек беспартийных; затем слева – масса всякого, совершенно разложившегося элемента, выдававшего себя за украинцев, а потом при известных обстоятельствах попадавшего в Союз Русского Народа. Социалистические элементы на Украине – значительно умереннее великорусских. В этом отношении их социализм умеряется действительно сильным национальным чувством. Интернационализма великорусского нет, и, конечно, на этой почве, если высшие классы к ним прислушались бы, не поддаваясь им, а помогая мне создавать действительную силу, можно было бы найти путь к соглашению. У украинцев ужасная черта – нетерпимость и желание добиться всего сразу; в этом отношении меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает все сразу, тот в конце концов ничего не получает. Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но это для них неприемлемо. Например, с языком: они считают, что русский язык необходимо совершенно вытеснить. Помню, как пришлось потратить много слов для депутации, которая настаивала на украинизации университета Св. Владимира. Причем интеллигенции на Украине почти нет: все это полуинтеллигенты. Если она, т. е. Директория, не образумится и снова выгонит всех русских чиновников и посадит туда всех своих безграмотных молодых людей, то из этого выйдет хаос, не лучше того, что было при Центральной Раде. Когда я говорил украинцам: «Подождите, не торопитесь, создавайте свою интеллигенцию, своих специалистов по всем отраслям государственного управления», – они сейчас же вставали на дыбы и говорили: «Це неможливо».

Верно, эта обстановка, счастливо сложившаяся для украинского движения, вскружила всем этим украинским деятелям голову, и они закусили удила, но я думаю, что ненадолго. Галичане интеллигентнее, но, к сожалению, их культура из-за исторических причин слишком разнится от нашей.

Затем, среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России. Вот такого рода галичане и были лучшими агитаторами, посылаемыми нам австрийцами. Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины – быть населенной каким-то прозябающим селянством. Тут, кстати сказать, эта ненависть разжигается униатскими священниками.

С точки зрения социальной, галичане умереннее, они даже не социалисты, а просто очень демократично настроенные люди. В этом отношении они были бы нам очень полезны и умили бы пыл нашей интеллигенции, воспитанной в русских школах со всеми их отрицательными чертами. Но из-за этой ненависти к Великороссии мне приходилось много с ними бороться. Эта ненависть у них настолько сильна, что идеям большевизма, чего доброго, на Украине они не будут перечить.

Почти вся промышленность и помещичья земля на Украине принадлежит великороссам, малороссам и полякам, отрицающим все украинское. Из-за ненависти к этим национальностям, очень может быть, галичане, а наши украинцы и подавно, скажут, что большевизм им на пользу, так как он косвенно способствует вытеснению этих классов из Украины.

Винниченко говорил (не мне, но мне передавали), что для создания Украины он считает необходимым, чтобы по ней прокатилась волна большевизма. Я лично этого не слышал, но охотно верю, так как знаю точку зрения таких людей. Разве можно было мне идти рука об руку с подобными людьми?

Затем есть еще одна черта, но это уже касается многих деятелей, – беспринципность, полное отсутствие благородства. Жаловались, что при старом режиме было воровство, но нельзя себе представить, во сколько раз оно увеличилось теперь, за время революции. Да дело не в этом. Наполеон достигал великих результатов, имея в числе своих маршалов и других крупных сподвижников презрительное количество мошенников.

Возвращаясь к вопросу разницы точек зрения великороссов и украинцев, я резюмирую: великороссы всех партий Украины не хотят. Правые их круги почему-то видели во мне монархический принцип и поэтому несколько поддерживали меня. Я им был нужен как переходная ступень от Центральной Рады к возврату старого режима. Российские либералы, будучи совершенно того же мнения относительно возврата к старому в смысле единой России, видя во мне все же человека демократического образа мышления, относились ко мне не скажу, чтобы враждебно, нет, скорее благосклонно, но без всякого единодушия, без всякой активности.

Украинцы вначале поддерживали меня, думая, что я пойду с ними полностью и приму всю их галицийскую ориентацию. Но я с ними не согласился, и они, в особенности в последнее время, резко пошли против меня. Лично я понимал, что Украина на существование имеет полное основание, но лишь как составная часть будущей российской федерации, что необходимо поддерживать все здоровое в украинстве, отбрасывая его темные и несимпатичные стороны. Великороссам же надо указать их определенное место.

Признавая две параллельные культуры, как глава государства я старался относиться к обоим лагерям совершенно беспристрастно и объективно. Я глубоко верю, что только такая Украина жизнenna, что она наиболее соответствует духу простого народа, что все остальные точки зрения суть, с одной стороны, не более и не менее как революционная накипь, с другой – старый русский правительственный взгляд, теперь уже отживший: «Держать и не пущать».

Я глубоко верю, что если бы люди были искренни и хоть немного отрешились от собственных личных интересов, если бы было больше доверия друг к другу, мои мысли по этому вопросу, проведенные в жизнь, могли бы примирить всех. Я глубоко верю, что эта точка зрения в конце концов возьмет верх, но, конечно, жаль, что теперь это все будет достигнуто с большими потрясениями и с ручьями крови; в то время как если бы мое правление продолжалось дольше, все было бы достигнуто совершенно спокойно.

В области социальных реформ я считаю, что мы должны на Украине вести крайне демократическую политику, но отнюдь не проводить в жизнь те крайние социалистические лозунги, которые Директория собирается проводить, что несомненно приведет к большевизму.

Затем я думаю, что политика моя была правильна в том отношении, что я постоянно рассматривал аграрный вопрос не с точки зрения экономической, а приняв главным образом во внимание политическую сторону жизни страны. С точки зрения экономической аграрная реформа не выдерживала критики, она просто в данное время не была нужна. С точки зрения политической она была крайне необходима, и тут приходилось руководствоваться лишь государственной необходимостью, а не интересами частных лиц. Этому-то земельные собственники, по крайней мере их правление, простить мне не могли.

Вообще, возвращаясь к прошлому, скажу, если бы мне снова пришлось стать во главе правительства Украины, я лично ни на йоту не изменил бы своих убеждений в том, что нужно для народа Украины.

У правых кругов все было обосновано на усилении полиции, на арестах, скажу прямо, на терроре. Никаких уступок, совершенное пренебрежение психологией масс. У левых все было основано на насилии толпы над более состоятельными классами, на демагогии, на потакании низменным инстинктам селянства и рабочих.

Я лично стоял за твердую власть, не останавливающуюся ни перед чем; одновременно с этим я признавал необходимость созидательной деятельности в области национального вопроса, а в сфере социальной проводил целый ряд демократических реформ. Конечно, тут нужно было известное счастье для того, чтобы провести государственный корабль через все подводные камни, которых, как будет видно при дальнейшем изложении фактов, было очень много. Счастье мне в данном случае не улыбнулось. Но мой уход несколько не изменил моего мнения. Я все же считаю, что тот тернистый путь в области внутренней политики, который я избрал, единственно верный. Те люди, которые за мною не пошли или не хотели идти, потому что это не совпадало с их личными выгодами, или не могли идти в силу тех закоренелых понятий, которыми они насквозь пропитаны и от которых они отрешиться не могли, те люди были неправы; будущее их в этом убедит.

В разгар любой революции только люди с крайними лозунгами при известном счастливом стечении событий становились вождями и имели успех. Я это знал, но, на мое несчастье, я пришел к власти в тот момент, когда для страны, измученной войной и анархией, в действительности была нужна средняя линия, линия компромиссов. Отсутствие политического воспитания в России; взаимное недоверие; ненависть; деморализация всех классов, особенно усилившаяся во время войны и последующей за ней революции; полная оторванность страны от внешнего мира, дающая возможность всякому толковать мировые события, как это ему кажется выгодным; военная оккупация – все эти условия мало сулили успеха в моей работе, но, взяв власть не ради личной авантюры, я и теперь не изменил своего мнения.

Я вел свой дневник с начала 1915 года по ноябрь 1917 года. Затем вихрь событий так меня затормозил, а главное, частая невозможность иметь при себе в силу того или другого условия записную книжку, в которой я мог бы правдиво описывать события, боясь, чтобы все записанное мною не попало в руки людей, которым не надо было бы знать, как я смотрю на тот или другой вопрос, все это заставило меня прекратить мои записки уже с ноября прошлого года.

Теперь этот интересный промежуток моей жизни придется восстанавливать по памяти; думаю, что с этим справлюсь.

Многие товарищи по войне, знакомые, друзья, не находящиеся все время при мне, не понимали, каким образом Скоропадский, все время бывший на войне, никогда не занимавшийся политикой, а украинскую подавно, не имевший никаких связей с немцами, вдруг оказался гетманом всея Украины, поддержанный немцами, вошедший в сношения с Entente-ой. Каким образом все это произошло? Конечно, как это всегда бывает, начались всякие нелепные для меня предположения: изменил России, продался немцам, преследует личные выгоды и т. п. Лично считаю ниже своего достоинства опровергать истерические выкрики всей этой мелкой публики, скажу лишь одно, что я сам не понимаю, как все это произошло. Меня, если можно так выразиться, выдвинули обстоятельства, не я вел определенную политику для достижения всего этого, меня события заставляли принять то или другое решение, которое приближало меня к гетманской власти.

Из моего дневника можно видеть, насколько я мало интересовался всем тем, что не имело отношения к войне с немцами, и как я нехотя шел в сторону политики. Даже после прекращения мною дневника это явление еще резче проявлялось.

Как я уже выше говорил, меня всегда интересовало прошлое Украины, но я никогда не интересовался новейшим украинским движением.

Когда в феврале и марте 1917 года, стоя с 34-м корпусом на позиции у Стохода в Углах, я впервые читал в «Киевской мысли» об украинских демонстрациях, мне это не понравилось, я подумал, что это работа исключительно наших врагов с целью внести раздор в наш тыл. Когда в «Киевлянине» появились статьи против этих демонстраций, я с этими статьями соглашался.

Помню, что по этому поводу пришлось спорить с моим адъютантом Черницким, который, воспитываясь раньше в Киевском университете, теперь, слыша про украинские демонстрации, придавал им большое значение. Адъютант Черницкий был скрытый враг России, как поляк, и поэтому в этих вопросах я ему не доверял. Вспоминаю затем, что в конце апреля я ездил как-то в штаб командующего армией Балуева и по дороге туда остановился в Сарнах, где провел несколько часов в Конной гвардии, стоявшей там на охране железной дороги. В разговоре с офицерами мне как-то Ходкевич, поляк, сказал, что я должен был бы принять участие в украинском движении, что я могу быть выдающимся украинским деятелем, гетманом даже, и помню, как это мне казалось мало интересным. В мае и июне я ни разу не вспомнил про украинство, если не считать, что в начале мая, как-то проезжая в автомобиле из штаба 16-го корпуса в Коломыю, где стоял мой штаб, я подвез по дороге какого-то солдата, который был назначен депутатом от украинцев на первый Войсковой Украинский Съезд. Этот солдат меня спрашивал, как я смотрю на вопрос, нужно ли теперь украинцам выделяться из частей и образовывать отдельные части. Я ему ответил, что считаю это пагубным с точки зрения нашей военной мощи, что переформирование военных частей почти под огнем противника последнему на руку, что таким образом мы только расстроим окончательно нашу армию. Он ушел от меня, когда я подъезжал к Коломые, и я забыл про этот разговор.

Уже после нашего последнего наступления, когда корпус мой отошел в резерв, штаб мой был в Мужилове. Было это около 29 июля, ко мне приехал некто поручик Скрыпчинский, украинский комиссар при штабе фронта, и предложил мне, с согласия главнокомандующего, Гутора, украинизировать корпус. Человеком он мне показался приличным, очень умеренных воззрений, я с ним разговорился и спросил его, почему он именно ко мне обратился. Он ответил, что украинизации свыше сочувствуют, так как здесь играет большое значение главным образом национализация, а не социализация, в украинском элементе солдатская масса более поддающаяся дисциплине и поэтому более способна воевать. Обратился же Скрыпчинский ко мне потому, что мой корпус в данное время был очень малочисленным (верно, в последнем наступлении он понес большие потери, особенно в 23-й дивизии), и потому, что я, Скоропадский, сам украинец. Я прекрасно помню, что ответил ему скорее отрицательно, указывая на то, что боюсь, как бы украинизация не расстроила окончательно мой корпус, что же касается того, что я украинец, то верно то, что я очень люблю Украину, но что мало знаю и совершенно не сочувствую тому украинскому движению, которое тогда господствовало, что оно слишком левое, что из этого никакого добра не выйдет, что я сам «пан», а все это движение направлено против панов, что, таким образом, я никогда не смогу слиться с остальными вожаками движения. Я помню также, что я ему решительно не отказал, а сказал, что подумаю и, во всяком случае, прежде чем дать ему определенный ответ, должен лично узнать мнение по этому вопросу моего командующего армией, Селивачева, и главнокомандующего, Гутора. Он уехал.

Я ему тогда резко не отказал по следующей причине: в то время я только что закончил нашу печальную наступательную операцию (последнее наступление Керенского). Нельзя себе представить, сколько тяжелых минут мне тогда пришлось пережить из-за развала, происшедшего среди наших солдатских масс благодаря революции. К сожалению, офицеры принимали в этом безобразии большое участие, особенно из среды не побывавших в огне. Мне приходилось тогда атаковать очень трудный участок, Обренчовский лес. У меня было четыре дивизии: мои



две, 104-я и 153-я, да приданные мне для атаки и дальнейшего наступления 19-я Сиб[ирская] стр[елковая] и 23-я пехотная. 23-я пехотная дивизия была вначале в прекрасном состоянии, она давно стояла на этой позиции, сжилась с нею и согласна была атаковать, мои же две дивизии и только что пришедшие, и 19-я Сибирская, незнакомые с местностью, заявили, что атака трудна, но отложить атаку было невозможно. Я неоднократно непосредственно писал главнокомандующему, что атака без основательной подготовки плацдарма успеха иметь не может. Он лично по моему последнему письму приехал ко мне и сказал, что откладывать атаку из-за меня он не может, атака будет. Сперва атака была назначена на 12-е, потом была перенесена на 17 июля. Вышеуказанные части на позицию идти не хотели, энергично взяться за подготовку окопов тоже не хотели; приходилось их убеждать.

Озверевшие солдаты митинговали, сбившись в толпы, необходимо было въезжать или входить в середину толпы и убеждать. Конечно, при этом надо было отказываться от всякого самолюбия.

Помню тогда интересный эпизод моего знакомства с социал-революционером Савинковым, который в то время был комиссаром 7-й армии, в состав которой мы входили. Два полка 104-й дивизии решительно отказались исполнить приказание. Савинков и я с начальником дивизии Люповым поехали убеждать их. Савинков говорил очень хорошо, но в результате только небольшая часть этих полков пошла, большая же часть осталась, обсыпая нас потоками ругани, из среды толпы выходили агитаторы и говорили речи, лейтмотив которых был, что начальство о нас не заботится, пьет нашу кровь и т. д. Савинкову тоже досталось; когда мы уезжали, толпа эта провожала нас гиком и свистом. Такие сцены мне не раз пришлось пережить перед атакою. В конце концов мой корпус атаковал и взял три линии окопов, затем, вместо того чтобы немедленно двигаться дальше, части занялись обшариванием окопов и, несмотря ни на какие увещания, дальше идти не хотели. В результате на следующий день они находились на исходных позициях. Вообще, этот период управления в бою революционными войсками — одно из самых отвратительных воспоминаний моей жизни, за время которой мне волею судеб приходилось иногда выкручиваться из очень неприятных положений, но никогда еще не было таких нравственных страданий, столько несправедливого ко мне отношения, такой жестокой неблагодарности.

Я очень много работал над своим корпусом и старался всегда, чем мог, облегчить положение солдат, постоянно бывал на позициях и требовал от своих подчиненных того же, поэтому, когда мне пришлось услышать все эти речи от людей, которые, кстати, сами в огне никогда не бывали, меня это приводило в отчаяние. Я это старательно скрывал, и теперь, когда ко мне явился Скрыпчинский с предложением отделаться от всех этих господ, я, без всякого отношения к политике, подумал, что это было бы не так уж плохо, но все же, не желая смешиваться с приверженцами Рады, я решил сначала лично выяснить точку зрения высшего командования, поэтому начал с того, что написал письмо моему хорошему знакомому еще по японской войне, генерал-квартирмейстру фронта генералу Рателю, с просьбой это письмо довести до сведения главнокомандующего Гутора и его начальника штаба, генерала Духонина. В этом письме я указывал, что если мне прикажут, я могу украинизировать корпус, но считаю, что это представляет большие затруднения. Допускаю, что в данное время украинцы являются лучшим элементом в боевом смысле, но не могу не указать на политическую сторону, которая будет чревата всякими последствиями. На последнем я особенно настаивал. Не помню, в конце ли письма или отдельною телеграммою, я просил разрешения главнокомандующего поехать для выяснения вопроса на несколько дней в Киев, предварительно заехав к нему.

Дня через два я получил телеграмму, в которой главнокомандующий меня уведомлял, что он разрешает мне на несколько дней ехать в Киев, по предварительно просил меня заехать к нему в штаб для выяснения вопроса.

Я выехал в сопровождении Вас[илия] Васильевича<sup>1</sup> Кочубея и офицера штаба корпуса, капитана Кизиль-Баши. Сначала я съездил к командующему армией Селивачеву. Он на национальный вопрос украинства смотрел не особенно сочувственно, но, вообще, ко мне лично относился очень хорошо, и поэтому к специальному вопросу об украинизации корпуса он относился терпимо. Начальник штаба, граф Каменский, очень симпатичный человек, чрезвычайно откровенный, энергичный, просто рвал и метал, ругая Гутора за его мысли об украинизации. Он все же выдал мне бумагу, что я командирован в Ставку главнокомандующего и далее в Киев для выяснения всех вопросов, связанных с украинизацией корпуса.

Кажется, 31 июля началось мое автомобильное путешествие из Мужилова в Киев с заездом в Федорово к главнокомандующему. Штаб я его застал в довольно подавленном настроении. Кажется, накануне неприятельские снаряды попали в один из наших складов, который начал разрываться, и, судя по выбитым в поезде главнокомандующего окнам и пробоинам в стенках вагона, несколько осколков попали в поезд. Сначала я повидал Рателя, напомнил ему о письме, которое я ему написал, и просил это письмо передать в дело штаба, считая его официальным. Затем я отправился к Духонину. Последний страшно меня торопил, указывая на то, что он где-то видел украинские войска, и что они на него произвели хорошее впечатление, и что необходимо, чтобы я скорее украинизировал корпус. На все мои сомнения он отвечал, что при желании все трудности можно преодолеть, и повел меня к главнокомандующему, с которым я завтракал. Во время еды главнокомандующий Гутор неоднократно возвращался к вопросу моего корпуса, считая, что вопрос его украинизации решен и мне задумываться над этим не приходится. На мой вопрос, читал ли он мое письмо, он ответил, что читал, но мнения своего не изменил. Я просил с окончательным решением этого вопроса повременить до возвращения моего из Киева и немедленно же после завтрака выехал на автомобиле в Киев.

Никогда еще мне не приходилось делать такого тяжелого путешествия. Дорога была отвратительна, хотя машина была отличная, сильный «бенц», но для подобной дороги было недостаточно шин, они скоро полопались, приходилось их вечно чинить. Таким образом, вместо одного, максимум полутора, дня, мы ехали четверо суток. Помню, ночевали в Бродах первую ночь; город был под обстрелом противника, наши батареи имели позиции в самом городе. Ночевали в какой-то чистенькой гостинице, хозяйка которой была чрезвычайно напугана положением вещей в Бродах. На следующий день мы продолжали путешествие таким же образом, останавливаясь на два-три часа по несколько раз в день. Наконец, поздно ночью мы добрались до какого-то хуторка в 16 верстах от Новоград-Волынского, где просидели весь остаток ночи над надуванием шин. Надували их втроем, а шофер чинил. Тут в хате я разговаривал с хозяевами. Это были хуторяне столыпинской реформы. Рано поутру я обошел с ними весь их хутор и пришел в восторг от виденного. Такого порядка и довольства в крестьянском хозяйстве я еще не встречал, хотя объездил и живал подолгу среди крестьян, особенно во время войны. Хуторяне приписывали свое благоденствие выделению их на отруба. Хозяин все время к своим пояснениям прибавлял: «Да, теперь стоит работать, ничего не пропадет, никому не приходится давать объяснений». Отъехавши утром версты две от хутора, вся наша ночная работа снова пропала. Шипы сразу лопнули на двух ободах, тогда мы набили их старым платьем и бельем и кое-как добрались до Новоград-Волынского. Здесь я никак не мог найти нового автомобиля, мои офицеры обошли весь город. Наконец Кочубей как-то узнал, что на окраине города живет какой-то шофер-украинец, он поехал к нему, разговорился с ним и заявил, что он тоже украинец, но что, вот большое несчастье, с ним едет генерал Скоропадский, который едет в Киев в Раду по вопросу об украинизации корпуса, и что нельзя доехать, так как наш автомобиль не имеет шин, а дело очень спешное. Украинец-шофер, фамилию я его, к сожалению, забыл, действительно отнесся трогательно к нашему положению. Он немедленно вошел в соглашение

<sup>1</sup> Василия Петровича Кочубея.

с каким-то инженером, достал автомобиль, сам свез нас в Житомир, хлопотал, чтобы у нас был автомобиль на следующий день для поездки в Киев, и ни копейки с меня не взял, заявив, что делает это все в виду того, что я украинец и что украинцы должны друг другу помогать. Мы ночевали у Франсуа в Житомире. В ресторане сидели польские паны и говорили про пана Грушевского, последний был им очень неприятен.

На следующий день мы только вечером добрались до Киева, где я остановился у В.К.<sup>2</sup> В.К. на мои вопросы, что такое Рада, высказался против нее, находя, что это кучка подкупленных австрийцами лиц, которые ведут украинскую агитацию, что в народе эта агитация не встречает сочувствия, что тут тайно примешивается агитация Шептицкого, стремящегося обратить наших малороссов в униатство и т. д. На следующий день я отправился в Генеральный Секретариат по воинским делам. В то время все лица, там заседавшие, совершенно еще не оперились; все они производили впечатление новичков в своем деле. Собственно говоря, никакого делопроизводства еще не было, и, кажется, вся их забота состояла главным образом в борьбе с командующим войсками Киевского военного округа, социал-революционером Оберучевым. Настроение тогда у них было умеренное в смысле политических и социальных реформ, главным образом проводилась национальная идея. Там я впервые встретил Петлюру. Окружен он был массой молодых людей, которые носились с какими-то бумагами. Вообще, типично революционный штаб, которых впоследствии приходилось часто встречать. В помещении был большой беспорядок и грязь. Очевидно, дела у Центральной Рады шли еще не особенно хорошо. Чувствовалась какая-то неуверенность. Но что мне понравилось, это определенное чувство любви ко всему украинскому. Это чувство было неподдельное и без всяких личных утилитарных целей. Сознаюсь, что мне было симпатично; видно было, что люди работают не из-под палки, а с увлечением. С Петлюрой я очень мало говорил, он совсем не был в курсе военных дел, а больше занимался киевской политикой. Был любезен, тогда еще говорил со мной по-русски, а не по-украински, вообще, тогда украинский язык еще не навязывался насильно. Кроме Петлюры, там был еще генерал Кондратович, который разыгрывал украинца, но ему, видимо, не доверяли, и он был на третьих ролях. Душой всего дела и самым осведомленным был какой-то поручик и Скрыпчинский. В общем, на меня вся эта организация не произвела такого отталкивающего впечатления, как меня предупреждали другие. Говорилось о дисциплине, о необходимости воевать с немцами. Не знаю, было ли это искренне, во всяком случае, на меня, тогда вернувшегося только что с фронта, украинизация скверного впечатления, согласно с моими воззрениями, не произвела; я находил только, что украинизировать корпус очень сложно и эта сложная операция может повредить боеспособности, и поэтому, уезжая из Секретариата, решил просить, чтобы мой корпус не украинизировали.

На следующий день в Киеве началась стрельба из-за выступления так называемых полуботковцев. Подробностей этого дела я не знаю. Меня уверяли, что это выступление было заранее подготовлено с целью свержения власти Центральной Рады и захвата власти чуть ли не полковником Капканом который собирался провозгласить себя гетманом, но что в последний момент он на это не решился. Полуботковцы были большею частью арестованы. Не знаю, так ли все это, да это и неважно. Факт тот, что движение это, во всяком случае, носило характер большевистский, арестовывали офицеров, срывали погоны и т. д.

Я отправился в штаб округа. Командующий войсками округа, по назначению Керенского, был тогда Оберучев, начальником штаба – генерал Генерального штаба А.<sup>3</sup> Самого Оберучева я не видал, он был где-то за городом. Личность это довольно интересная, судя по тому, что я о нем слышал. Говорили о нем, что он умный, образованный и энергичный социал-революционер; бывший артиллерийский полковник, лет за десять до нашей революции участвовавший

<sup>2</sup> Василия Петровича Кочубея.

<sup>3</sup> Абалещев.

в каком-то офицерском заговоре, бежал за границу, где и находился до начала революции. С первых ее дней он играл видную роль в Киеве. Если он действительно, как говорят, умный человек, то мне положительно невдомек, каким образом он думал, что, руководствуясь принципами, положенными в основу управления нашими войсками во времена Керенского, можно было заставить их повиноваться, да будучи еще сам при этом военным человеком, дослужившимся до чина полковника. Его вначале слушали, брал он смелостью и умением говорить; через некоторое время, как это всегда бывает, его уже ни в грош не ставили, повторяю, я его не видел, записываю это с чужих слов; кстати, мне уже говорили, да этому я и верю, так как Оберучев об этом писал в «Киевской мысли», он был ярым врагом всего украинского, а украинизации армии и подавно.

Начальник штаба, генерал А., на меня произвел впечатление личности, находящейся в руках Оберучева и собственного мнения не имеющей. Итак, большинство лиц, которых я встретил, да и мои личные впечатления были скорее за то, чтобы корпус не украинизировать. С таким решением я и выехал обратно в корпус по железной дороге.

Уже на станции Киев я узнал, что немцы и австрийцы перешли в наступление, поэтому, чтобы не разыскивать долго корпус, я решил отправиться в Каменец-Подольск, а оттуда на автомобиле уже к себе. В Каменце находился штаб главнокомандующего, который даст мне все нужные сведения. Так я и сделал. На следующий день, т. е. 7 июля, я приехал в Каменец-Подольск. В штабе главнокомандующего смятение: только что прибыл Корнилов, назначенный вместо Гутора. Бывший главнокомандующий Гутор прощался со штабом. Немцы провали фронт, подробности неизвестны.

Я побывал у Рателя, Духонина и отправился к Корнилову. У последнего мне всегда было приятно бывать. Я его знал, когда командовал Гвардейским кавалерийским корпусом вместо хана Нахичеванского, а затем 34-м корпусом, Корнилов же командовал 25-м. Нам тогда часто приходилось встречаться на совещаниях в Луцке у Валуева, и Корнилов на меня всегда производил впечатление человека честного и сильного. Он относился ко мне всегда хорошо. Еще недели за две до его назначения главнокомандующим он звал меня к себе в 8-ю армию, где предлагал дать мне 23-й корпус. Я решил было согласиться из-за желания служить под командой Корнилова, но через несколько дней я узнал, что Корнилов поссорился со своими комитетами и решил сдать армию. Поэтому я отказался уходить от 34-го корпуса, с которым я сжился и который я мог бы покинуть лишь для того, чтобы служить у Корнилова. Еще раньше, когда Гурко уходил из Особой армии, где я командовал гвардейской дивизией, Гурко предложил мне на выбор пять корпусов, но мне жаль было бросать свой 34-й корпус. Обоих этих генералов я искренне любил и уважал и готов был принципиально за ними следовать. Я не ошибся. Корнилов, как и следовало было ожидать, получил Юго-Западный фронт, а на его место был назначен ужаснейший генерал Черемисов.

Корнилов встретил меня любезно и принял со словами: «Я от вас требую украинизации вашего корпуса. Я видел вашу 56-ю дивизию, которую в 81-й армии частью украинизировал, она прекрасно дралась в последнем наступлении. Вы украинизируйте ваши остальные дивизии, я вам верну 56-ю, и у вас будет прекрасный корпус». Эта 56-я дивизия была временно от меня оторвана и придана 8-й армии Корнилова, я же был с двумя дивизиями в 7-й армии. Корнилову я ответил, что только что был в Киеве, где наблюдал украинских деятелей, и на меня они произвели впечатление скорее неблагоприятное, что корпус впоследствии может стать серьезной данной для развития украинства в нежелательном для России смысле и т. д. На это мне Корнилов сказал, прекрасно помню его слова, они меня поразили: «Все это пустяки, главное – война. Все, что в такую критическую минуту может усилить нашу мощь, мы должны брать. Что же касается Украинской Рады, впоследствии мы ее выясним. Украинизируйте корпус». Меня эти слова поразили, потому что общее впечатление об украинском движении заставляло думать, что движение это серьезное. Легкомысленное же отношение Корнилова



к этому вопросу показало мне его неосведомленность или непонимание. Я старался обратить его внимание на серьезность вопроса, понимая, что к такому национальному чувству, какое было у украинцев, надо относиться с тактом и без эксплуатации его из-за его искренности. Я, помню, тогда вышел и подумал: не может же быть, чтобы Корнилов не продумал вопроса и принял решение, и такое важное, как национализация армии, не отдавши себе отчета во всех ее последствиях. Конечно, теперь, вспоминая всех этих генералов, я не поверил бы им, это были положительно дети в вопросах политики, но тогда, не имея другой мысли в голове, как борьбу с немцами на полях сражения, я не сомневался в правоте их мнений. На прощание Корнилов мне еще раз сказал: «Корпус ваш будет украинизироваться, а теперь спешите к нему, он сегодня, вероятно, вступил в бой».

Я немедленно, раздобыв себе автомобиль, поехал в Бучач к командующему армией, в сопровождении какого-то, вновь прибывшего, французского офицера. К командующему Селивачеву прибыл я вечером. Хороший генерал, это тоже один из честных русских генералов. Вообще, как и во всем в России, вечно самые яркие контрасты, также и в среде генералов. Чуть ли не ходячее мнение, что наш высший командный состав плох. Это, по-моему, неверно; среди нашего генералитета были действительно светлые личности, и к таким, между прочим, я причисляю Селивачева. Но при существующей у нас вечной анархии и справа и слева честным людям приходится преодолевать несравненно больше препятствий для проявления своей воли и инициативы в полезную сторону, чем где бы то ни было в другой стране.

Прибыв к Селивачеву, я сразу понял, что дело неладно. Бучач, дотоле шумный, где в течение очень долгого времени стоял штаб 7-й армии, и теперь кипел жизнью, но чувствовалось, что уже прошли времена, когда над штабом витала победа, теперь настроение у всех было подавленное – немцы прорвали фронт в нескольких местах, наши войска, видимо, по всей линии отступали. Мой корпус с утра был уже выдвинут из резерва в Мужилове в северо-западном направлении, но ввиду того, что корпуса, находящиеся на фронте, уже отступали, он получил приказание сосредоточиться в районе Барнакова, куда он должен был прибыть к утру. От Селивачева я получил все должные указания и ушел добывать автомобиль. Помню, что уходя, встретил комиссара при VII армии, заменившего Савинкова, я его видел до этого раза два, и он меня поразил своим видом непогрешимого папы. Все, что он делал или говорил, по его мнению, было великолепно, он считал, что именно он является решающим голосом во всех вопросах, на нас он смотрел свысока. С виду это был человек лет 55, с большой бородой, по профессии, кажется, врач, бывший политический каторжник. Теперь, когда я его встретил, у него был совершенно растерянный вид. Он обратился ко мне и спросил, можем ли мы удержаться и не является ли это началом разгрома армии. Раздосадованный всеми порядками, введенными у нас в армии этими людьми, я ему довольно резко ответил, что в обыкновенное время мы бы довольно быстро локализовали прорыв и остановили противника, но теперь с новыми порядками не знаю, что из всего этого выйдет. Он от меня отскочил.

В Барнаков приехал поздно ночью, штаб и войска мои еще туда не прибыли. Я переночевал в хате; к утру подошли сначала какие-то наши обозы, а затем и штаб. Началось так называемое «Тарнопольское отступление», которое является одной из самых печальных, до отчаяния тяжелых страниц нашей военной истории. Я не буду подробно останавливаться на боевых действиях моего корпуса, что совершенно не представляет интереса для выяснения дальнейших политических событий, в которых я играл роль. Ограничусь лишь коротким перечнем событий. В течение двух войн мне приходилось бывать в очень неприятных положениях, но, как я уже говорил, таких нравственных мучений, которые я пережил с 8-го по 18 июля, т. е. когда мы окончательно осели на Збруче у Сатапова я никогда не забуду.

9-го у Барнакова был бой при очень трудных для меня условиях, из которых главное – перерыв связи по фронту и вглубь с командующим армией. Помню, что когда связь эта восстановилась, я в тот день объехал все свои части, выдвигая их на позиции, торопя, подбад-

ривая, вернулся в Барнаков, довольный своей деятельностью, и полагал, что Селивачев, получив вечером мое донесение, будет тоже очень доволен. Каково же было мое удивление, когда, подойдя к аппарату, я вдруг прочел: «Вы действуете медленно, потрудитесь проявить больше энергии и т. п.». Я совершенно не понимал, какой еще энергии он от меня требует. Не имея никакой связи, мне пришлось разослать всех своих ординарцев и адъютантов. Лично я, когда части подходили, объездил все полки, говорил с ними, затем перед подходом к позиции опять разговаривал с начальствующими лицами и, благодаря личному воздействию, могу сказать без преувеличения, части недурно разворачивались. Я был доволен, и... вдруг – нагоняй, да еще какой! Долго спустя, уже в Меджибужье, в мирной обстановке, как-то раз, когда Селивачев был у меня, я его спросил, почему он так тогда на меня напал. Селивачев внимательно меня выслушал, мы разобрали все детали разворачивания корпуса. Оказалось, что он ошибся, полагая, что дивизии уже были сосредоточены против своего будущего фронта и что им нужно было только подвинуться вперед. В то же время на самом деле дивизии были сосредоточены частью почти у самого Барнакова, частью же еще не подошли с ночного марша, поэтому обстановка для разворачивания была очень сложной и требовала, при самом большем напряжении, значительно более долгого срока. Селивачев разобрался во всем этом и сразу согласился. Вообще, это был редко честный человек. 9 июля, к концу дня, обозы нескольких корпусов, смешавшись, проходили через Барнаков. Тут я увидел воочию, что из себя представляет революционная дисциплина: пришлось разослать весь штаб, чтобы хоть как-нибудь упорядочить это движение, грозящее каждую минуту перейти в катастрофу, из-за возможной в такой среде паники от каждого пустяка. 10-го, утром, мы были уже в Хмелевке, за ночь туда перебрались. В этом бою у меня перебивало дивизий 7 или 8, но большинство из них драться не хотело, другие же делали вид, что дерутся, но при первом маленьком натиске отходили. Моя 104-я дивизия, во главе с доблестным генералом Гандзюком, дралась, т. е. большинство полков хорошо себя вели, в особенности 4-й полк. К концу боя оба начальника дивизии, генерал Ольшевский 153-й дивизии и Гандзюк 104-й дивизии, были тяжело ранены, особенно последний. Я думал, что он погиб, но крепкая его натура и на этот раз выдержала. После страшнейшей контузии уже через два месяца он стал во главе дивизии. Это был настоящий герой. Девять раз раненный и вышедший из войны все же дееспособным, бедный Гандзюк был убит в январе 1918 года большевиками.

В бою у Хмелевки меня охватывали то радостные минуты, то я приходил в отчаяние. Временами, глядя, как дрались некоторые немногие части под командой лихих офицеров, мне казалось, что и с такой армией можно еще отстаивать честь Родины. Но тут же рядом наблюдал безобразнейшие картины бегства других частей. Помню, одну часть с 45-ю офицерами увел какой-то демагог поручик. Часть эту я остановил и офицеров предал суду. Другие части сразу не удирали, а постепенно таяли от уходящих понемногу, один за другим, негодяев. Вначале еще я кое-как справлялся, приказывал их арестовывать и т. д., но потом поток стал неудержим; люди нескольких дивизий смешались, и тогда уже ничего нельзя было сделать. На фронте держались до вечера два полка 174-й дивизии и, кажется, один полк 3-й Амурской дивизии.

11-го мой штаб был в Лясковцах. Там же сосредоточились также штаб первого корпуса, Мельгунова, и шестого корпуса, Нотбека.

В бою у Лясковцов положение было очень плохое, не хотелось отступать за реку, да и приказание на это я еще днем не имел. Большинство частей неважно дрались, главным образом приходилось держаться отвагою тех частей, которые так хорошо вели себя накануне. Около двух-трех часов дня положение было совсем как будто плохое, в это время мне передали два подошедшие полка Туркестанской дивизии, не помню номера. Нотбек, видя обстановку, пришел ко мне и говорит: «Я эти полки знаю, одним из них я командовал, они за мной пойдут, я сам их поведу в атаку». И пошел, и действительно временно задержал наступление. Нужно согласиться, что не всякий генерал, не будучи обязан, на четвертом году войны взялся бы быть

охотником для спасения дела и с чужими частями бросаться в огонь, да еще и безнадежное дело и с революционными войсками. Я проникся к нему глубоким уважением. Поэтому я был так удивлен, что этот честный Нотбек теперь командует какими-то частями у большевиков и наблюдает, как его же части расстреливают товарищей офицеров и его знакомых массами в России. Это что-то моему разуму непонятное.

Помню, что во всех этих боях мне очень помогли броневики, в особенности английские. Наши русские броневые отряды уже отчасти деморализовались и за малейшее дело являлись ко мне, умоляя представить их к награде, хотя я и им в лихости не мог отказать. Англичане же были героями и не раз косили целые немецкие роты, находящиеся в компактных массах; они проникали в тыл противника и там вносили временное расстройство. Верно, что прекрасное шоссе сильно способствовало их усиленным действиям.

Ночью на 11-е через Косов я отошел к Яблону. Было приятно рано, после ночного марша, очутиться в прекрасном доме графини Ченской, которая нас очень радушно приняла и угостила чаем.

Каких усилий мне стоило, чтобы проходящие войска не грабили ее и окрестных жителей, но, несмотря на все меры, принятые мною, на следующий день, когда мы были в Копычинцах, я узнал, что после нашего ухода наши мародеры дотла ее ограбили и хуже того, по словам местных жителей, мужчин истязали, а женщин насиловали.

12-го немцы на нас не наступали, и это нас спасло. Это дало возможность нам немножко водворить порядок в обозах четырех корпусов, которые, несмотря на совершенно точное приказание, в котором каждому корпусному обозу был указан отдельный путь, все сбились в участке шоссе Копычинцы – Гусятин. Тут творилось что-то невообразимое, и только усиленными мерами командующего армией в Гусятине и моими в Копычинцах к вечеру нормальное движение было более или менее восстановлено.

В ночь на 13-е мне было приказано сразу оторваться от противника и ночным маршем перед рекой перейти к Збручу, где и занять позицию западнее реки. Желая помешать насилию частей над жителями Копычинцев, я остался со штабом до полного отхода частей, и здесь мне пришлось быть свидетелем зверств наших революционных солдат. Положительно это были звери. Грабеж, убийства, насилия и всякие другие безобразия стали обыкновенным явлением. Не щадили женщин и маленьких детей. И это среди населения, которое относилось к нам очень сочувственно. Что мог предпринять штаб и я, когда комитеты считались настоящими хозяевами. Я еще как-то умел с ними ладить и подчинять их своей воле. Во время боев комитеты куда-то исчезали, и тогда было значительно легче работать. Как только противник был далеко, все эти учреждения снова делали свое отвратительное, разлагающее дело. Я встречал чудаков, которые мне говорили, что если бы не было комитетов, было бы еще хуже. Это, по моему, сплошной вздор. Комитеты некоторым слабым начальникам были удобны – это верно, так как эти господа могли всегда ответственность сваливать частью на комитеты. Бывали действительно случаи, когда в комитеты попадали хорошие, благонамеренные люди, и тогда, иногда, они приносили пользу, но такие случаи были очень редки, да и вопрос еще, окупалась ли та польза, которую они приносили, тем вредом, который они делали, содействуя развалу армии, так как о таких полезных случаях немедленно кричали, доводили до сведения высшего начальства и некоторые из числа высших генералов начинали верить, что действительно комитеты не так уж дурны. На самом же деле это было величайшее зло, которое нас погубило. Всякую демократизацию можно было ввести другими мерами свыше, но подрыв власти командного состава, да еще во время войны, когда те же революционные деятели требовали от нас наступления, просто указывает на глубину невежества этих людей. Сколько бесцельных жертв мы понесли среди наших лучших граждан за этот грех нашей интеллигенции, так безграмотно взявшейся править Россией.

Ночью на 13-е я с корпусом отошел на Збруч благополучно и здесь усиленно начал укреплять позицию. Это была последняя позиция, на которой я стоял. Ею я закончил войну, да впрочем, далее немцы и не двинулись.

В Саганове стал мой штаб. Корпусу моему досталась прекрасная позиция. Я с увлечением начал ее укреплять. Впереди открытая местность, тыл наш прикрыт густым лесом, обеспеченные фланги, сносные дороги и сверх того прелестная, чрезвычайно живописная местность. Вот, думал я, тут можно будет дать хорошую трепку немцам, если пойдут на меня. Но они шли на Гусятин, а на меня ежедневно с тыла нападали комитеты и всякий другой народ, свой и приезжий, даже из Петербурга, в лице каких-то членов рабочих и солдатских депутатов. На следующий день, по прибытии на Збручскую позицию, я рано утром с адъютантом Черницким поехал на позицию и тут же дорогою пришел в ярость. От противника мы оторвались верст на 25, кругом спокойно, позиция хорошая, а вижу, целые толпы солдат прут дальше куда-то в тыл. Я понял, что если на этой позиции мы не остановимся решительно, тогда уже наступит окончательный развал. Я начал подъезжать от одной кучки к другой, увещевал, ругал, – делают вид, что слушаются, отъеду – поворачиваются и идут на восток. Тогда, поняв, что такими мерами ничего не достигнешь, я поехал в штаб 153-й дивизии, расположившийся в долине среди гор, заросших прелестным лесом. У входа штаба стояла куча солдат. «Это кто такие?» – спрашиваю временно командующего дивизией. «Да вот уж перешли реку, собирались удирать – я их увещаю». – «Не увещавать, а нужно расстреливать!» Временно командующий дивизией возразил, что не имеет этого права по закону. Тут же послышались голоса, разделяющие тоже его мнение. Я вошел в дом, приказал выделить одного из кучи дезертиров, более нахального, и написал лично приказ немедленно расстрелять его, объявив в дивизии, что всякий, кто без приказанья перейдет реку Збруч, будет немедленно расстрелян. И сказал временно командующему дивизией, что если приказ этот не будет немедленно исполнен, я его отрешаю от должности и предам суду за неисполнение приказаний. Дезертир был расстрелян, и была выставлена надпись у реки: «Дезертир, не уходи за реку, будешь расстрелян!» Эта, далеко не демократическая мера сразу возымела свое действие: массовое дезертирство прекратилось, и работы по укреплению позиции пошли довольно успешно. Этот случай приказа расстрелять даром мне не прошел: комитеты заволновались, началось обсуждение, как быть со мной. Корниловский приказ о предании суду виновных в дезертирстве, грабежах, насилиях и т. п. и о введении смертной казни вышел значительно позже.

В это же приблизительно время появился первый приказ, помню даже точно, 16-го был расстрелян дезертир, а 18-го вышел приказ Корнилова об украинизации корпуса.

Раз Корнилов требовал настойчиво украинизации, я ничего не имел против того, чтобы была украинизирована 153-я дивизия. Это была дивизия последней формации, плохо снабженная, несбитая и ничем доблестным во время последних боев себя не проявившая. Но я решительно восстал против того, чтобы была украинизирована 104-я дивизия, в последних боях показавшая себя очень недурно, особенно в то время, когда во главе ее стоял генерал Гандзюк. Я непосредственно по этому поводу говорил с Селивачевым и просил его выхлопотать разрешение не украинизировать эту дивизию, а вместо нее дать мне в корпус какую-нибудь растрепанную за последние бои дивизию, которую не жалко будет раскассировать. Хотя Селивачев вполне со мною соглашался, тем не менее 23 июня я снова получил приказ о выводе 153-й и 104-й дивизий, причем всех офицеров и солдат великороссов передать в 41-й корпус (мой сосед справа). Я начал с того, что членов комитетов, всех евреев и великороссов передал в 41-й корпус. Всех офицеров я не передал в 41-й корпус, оставляя всех хороших у себя, слабых всех передал, точно так же поступил и с должностными солдатами. Это, может быть, с моей стороны была ошибка, но мне было тяжело отправить этот хороший элемент из корпуса, не устроив его приличным образом. Это мое решение создало мне потом кучу неприятностей.



24 июля с одним кадром корпуса я ушел, сдавши позицию 41-му корпусу, в Меджибож. Для меня переход из Иванковиц в Меджибож, кажется, 150 верст, одно из самых приятных воспоминаний 1917 года. Мы двинулись верхом. Компания наша состояла из инспектора артиллерии, Аккермана, адъютанта Черницкого, прапорщика Зеленецкого и двух-трех вестовых. Зеленецкий, бывший помещик в этой губернии, прекрасно знал всех окрестных жителей. Ехали мы очень быстро, так что на следующий день были уже в Меджибоже.

25 июля я прибыл в Меджибож, вскоре подъехал мой штаб, и началась моя чисто украинская работа, которая меня довела до гетманства.

Я со своими офицерами расположился в замке, части – в самом Меджибоже и в лагере 12-го корпуса.

Украинских пополнений почти что не было, но те, которые были, представляли из себя очень хороший элемент. У меня была надежда, судя по этим людям, что украинизация даст действительно хороший боевой контингент. Было особенно приятно, что среди этих украинцев не было озлобленных, недовольных, распропагандированных лиц, все смотрели весело и хотели работать. Ярые националисты, но и только; раз начальство украинское и украинский корпус – все хорошо. Работа закипела, и я надеялся, что все пойдет хорошо.

Но вскоре пришлось несколько разочароваться. Во-первых, через некоторое время явились пополнения совершенно другого состава, все больше политиканы на социалистической подкладке. Затем недостаток украинских офицеров сразу дал себя почувствовать. Мне все присылали с пополнениями одних лишь прапорщиков, очень остро национально настроенных, но не имеющих никакого понятия о военных делах. В частях сразу же пошла рознь между новыми украинскими офицерами и старыми, главным образом великорусским элементом. Это были как раз те элементы, которые я придержал, желая их лучше пристроить в других частях и, кроме того, использовать как опытных офицеров, но так как пополнение явилось только в виде прапорщиков, которых на командные места я назначать не мог, мне приходилось не выпускать старых офицеров, пока я не найду более опытных старших. Глядя на всех этих украинских шовинистов, мне стало ясно с первого дня, что ссоры должны начаться и что в каждой части будет два непримиримых лагеря.

Снабжение, которое было обещано, также не приходило. Мне же, по плану Корнилова, на украинизацию моего корпуса был дан всего один месяц, и действительно, не помню, так кажется, но около 15 августа я получил приказание передвинуть корпус в Ларгу-Липкин. Видя, что в том состоянии, в котором находился сейчас корпус, ни о каком передвижении не может быть и речи, я решил поехать с разрешения Селивачева в Бердичев к главнокомандующему.

17 августа, по прибытии в штаб фронта, прежде всего зашел к генералу Маркову. Я сразу заметил у него чрезвычайно недоброжелательное ко мне отношение и полное недоверие ко всему тому, что я говорил о положении корпуса. После этого я пошел к генералу Деникину, который знал меня еще раньше, так как я временно командовал его 8-м корпусом. Я заметил опять то же самое отношение: корректное, но холодное и недоверчивое. Я недоумевал. Потом уже в разговоре выяснилось, что они полагали, что весь вопрос украинизации корпуса изобретен мною, что высшее начальство в это не вмешивалось, что, таким образом, я являлся каким-то авантюристом. Конечно, всего этого они мне не говорили, но такое мнение обо мне ясно можно было уяснить себе из наших разговоров.

На мое счастье, я как бы предчувствовал все это и поэтому приказал адъютанту вести с собой подробное дело украинизации корпуса. За этим делом в штабе я лично следил и знал, что там подшита каждая, даже маленькая, бумага и телефонный разговор. Поэтому, когда Марков в присутствии главнокомандующего Деникина обращался ко мне с вопросом: «А на каком основании вы это сделали?», я молча указывал на бумагу, подшитую к моему делу. После этого объяснения со мной и Деникин и Марков сразу переменились ко мне, вероятно, сообразив, что я к тем украинским деятелям особого сорта не принадлежу.

Оба эти генерала были чрезвычайно недовольны украинизацией корпуса, в особенности Марков. Марков рвал и метал, но ничего не мог мне сказать, так как положительно каждое мое распоряжение в вопросе украинизации было основано на письменном или телефонном распоряжении высшего начальства. В конце концов было решено, что украинизацию нужно провести только в тех частях, где она уже была у меня в ходу, что же касается артиллерии и вспомогательных частей, то оставить все по-прежнему. Это шло вразрез с настоятельным требованием бывшего главнокомандующего, Корнилова, теперь уже верховнокомандующего, который, наоборот, требовал полной украинизации вплоть до лазаретных команд. Я был несколько расстроен: одно начальство требовало одного, явилось другое, когда уже дело в ходу, и требовало совсем другого. Я жалел, что согласился тогда остаться в корпусе. Выяснивши только второстепенные вопросы, я отправился к себе в корпус, но самого главного вопроса об офицерах, т. е. что мне делать с уходящими великорусскими офицерами и солдатами и откуда мне получить опытных украинских офицеров, это все так и не было ими выяснено.

Во время моего пребывания в Бердичеве у меня осталось прекрасное впечатление от встречи с капитаном Удовиченко. Это был молодой человек, образованный и широких взглядов, вместе с тем убежденный украинец. Я об этом упоминаю, так как это явление довольно редкое. Удовиченко теперь сменил в штабе фронта Скрыпчинского по должности украинского комиссара. Последнего удалил Марков.

Вернувшись к себе в корпус, я положительно приуныл: отношения между офицерами еще больше обострились. Прапорщики начали высказывать свое политическое кредо, многие из них оказались противниками войны, на заседаниях комитетов, куда многие из этих крикунов попали, была обычная тема о корпусе, который должен защищать лишь Украину, центром которой является Киев, что если сейчас корпус не будет отведен к Киеву, его займут великорусские войска, возвращающиеся с фронта, и тогда – конец Украине.

Высшего начальства, понимающего положение, не было, лишь впоследствии вернулся генерал Гандзюк и прибыли вновь назначенные ко мне генералы Клименко и Крамаренко. С их приездом мне, конечно, стало легче, но все же у меня положительно не было под рукой строевого начальника, на которого я мог бы вполне рассчитывать. Не потому, что эти генералы были неподходящими, наоборот, я их очень высоко ставлю как честных, добросовестных, исполнительных и прекрасно знающих свое дело людей. Но люди эти не могли быть совершенно надежными помощниками, потому что абсолютно не разбирались в делах, когда необходимо было вести политику.

Обещанное снаряжение являлось далеко не в том количестве, которое полагалось. Помню, как тяжело было со штанами: целые батальоны разгуливали в лохмотьях вместо штанов, но дисциплина все же поддерживалась, люди на занятия выходили веселыми.

Мы создали офицерскую школу с прекрасным составом учителей, особенно много труда положил на нее прекраснейшая личность, мой инспектор артиллерии, генерал Аккерман, полковник Ермолов и капитан Кузнецов. Для меня наслаждение было посещать эту школу. Я ясно наблюдал перемену, которая происходила в жизни многих из прапорщиков за время прохождения курса. Являлись они туда с известной мыслью, что их ничему не обучат, что это просто отбытие очередного номера. Большинство из них было напитано поверхностно всякими крайними социалистическими программами и к военному делу относилось враждебно. Вначале были чрезвычайно неаккуратны, но благодаря умению и такту руководителей, все это быстро менялось, и офицеры с большим интересом и усердием работали не покладая рук. Через полтора месяца это были неузнаваемые люди, дисциплинированные и знающие свое маленькое, но ответственное дело.

Мы значительно расширили курс школы прапорщиков, установленный правительством. Помню, какие интересные лекции читал сам очень образованный человек, капитан Кузнецов, по военной психологии, лично я с большим интересом за ними следил.

По окончании школы был торжественный акт и завтрак. Эти офицеры вышли из школы перерожденными, с горячим желанием работать для водворения порядка. Они являлись во всех частях самым надежным элементом, оставаясь вместе с этим украинцами, но без той узости и нетерпимости, которою они были напичканы раньше, той ненависти ко всему русскому, которая проповедовалась в течение всей революции их вождями.

Унтер-офицерские школы были также очень хороши. Кроме того, было много вспомогательных школ: бомбометания, минометная, гранатная, учебный городок и т. д.

Меня тогда посетил генерал Шейдеман, посланный главнокомандующим для выяснения готовности школы. Он остался мною очень доволен, но все же признал, что при таком состоянии корпуса, без старших офицеров и с таким снаряжением, выступить корпусу невозможно. Ввиду такого положения и сознавая, что дальнейшее пребывание корпуса в тылу, подверженном значительно большему влиянию здесь всевозможных агитаторов, крайне нежелательно, я счел необходимым все сделать для того, чтобы скорее выступить на фронт.

Вопрос об агитаторах в то время стоял неблагоприятно, не говоря уже о том, что очень многие прапорщики в этом отношении были ужасный элемент. На мое несчастье, рядом с расположением в лагере наших частей стоял наш же 14-й запасной полк, в среде которого были настоящие, видимо австрийского происхождения, шпионы, они вели сначала подпольную, а потом пытались вести и явную агитацию чисто большевистского характера и среди моих солдат. Какой-то агитатор даже успел собрать митинг, которые в то время, благодаря оздоравливающему влиянию Корнилова, были уже запрещены, но здесь украинское национальное чувство взяло верх. Немедленно же поехали и прапорщики, и солдаты из всех комитетов, держали соответственные речи, а когда это не помогло, то просили послать военную силу, и митинг был разогнан, но главный агитатор, к сожалению, как водится, удрал. Так уже открыто, пока мы были в Меджибуже, митинг не повторился. Но я не сомневаюсь, что подпольная работа подобных господ продолжала свое разлагающее, большевистское дело.

Я решил с разрешением Селивачева ехать в Ставку лично к Корнилову, который, я знал, интересовался моим корпусом и который единственно мог мне помочь в вопросе об улучшении положения офицеров и в деле переформирования корпуса.

26 августа я, в сопровождении своего адъютанта, Черницкого, выехал на автомобиле в Бердичев, 27-го утром был в Киеве и вечером же поехал в Могилев. На следующий день, подъезжая к Могилеву, я вижу, в коридоре кондуктор читает публике телеграмму. Я подошел послушать. Оказывается, что это было телеграфное повторение манифеста Корнилова, в котором он объявлял, что Родина гибнет, что министры изменники и что он берет власть на себя. Декларация эта всем известна, и я ее повторять не буду. Пассажиры переполошились, раздавались голоса и за и против, но когда через полчаса тот же кондуктор явился с телеграммой Керенского, в которой последний объявлял Корнилова изменником народному делу и т. п., тоже всем известная, напряжение среди публики дошло до высших пределов, и в соседнем купе началась уже какая-то перебранка, но, видимо, по крайней мере в нашем вагоне, корниловцы брали верх. Я молчал и думал лишь о том, как бы скорее разобраться во всем происходящем и вернуться скорее в корпус, где, ясно сознавал, что все эти декларации не пройдут бесследно.

Приехали в Могилев. На станции масса часовых, караулы все выправленные, чисто одетые, дисциплинированные. Чтобы проехать в город, нужно было предстать перед каким-то чиновником, который подробно опрашивал меня о цели приезда и указал, что мне необходимо явиться к коменданту Ставки, прежде нежели получу разрешение проезда в штаб. Я так и сделал.

Помещение коменданта находилось возле дворца, где жил Корнилов. Подъезжая туда, я заметил скопление войск. Перед самым дворцом строились Георгиевский полк и Корниловский ударный батальон, конные туркмены проходили повзводно и становились за решеткой. Штабные офицеры частью остановились, частью были разосланы в различных направлениях с

приказаниями. Я понял, что тут что-то происходит, и решил подождать и посмотреть. Подошел хор музыки – очевидно, ожидали какое-то начальство. Наконец под звуки встречного марша появился Корнилов, по-видимому, больной. Все были без пальто, он в шинели, нервной походкою обошел фронт, поздоровался и стал на какое-то возвышение, вроде скамейки, и обратился с речью. Всего я расслышать не мог, но по отдельным фразам: «Я казак, такой же простой человек, как и вы, братцы», «У теперешних министров звенит иностранное золото в карманах» и т. д., мне показалось, что он в общем повторил то обращение к народу, которое я уже читал в вагоне.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.